



Рассказы
русских писателей
о музыке
—
Душа музыканта



Москва

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)я43
Д86

Идея и составление сборника *Анны Жирковой*

Художественное оформление *Степана Костецкого*

В оформлении переплета использована иллюстрация:

Oleksandr Poliashenko / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com / FOTODOM

Д86 **Душа** музыканта : рассказы русских писателей о музыке. — Москва : Эксмо, 2026. — 544 с.

ISBN 978-5-04-216411-8

Музыка — дар или проклятие? Искусство или одержимость? Русские писатели исследуют душу творца с поразительной точностью.

Тайна смерти Моцарта. Городок внутри музыкальной табакерки. История гениального скрипача, который страдает алкогольной зависимостью. Юмористическая зарисовка о дружбе контрабасиста и флейтиста. Жизнь слепого мальчика, обретающего свой мир через музыку. Это и многое другое ждет вас в сборнике «Душа музыканта», в который вошли рассказы о музыке от русских классиков: Загоскина, Пушкина, Одоевского, Тургенева, Толстого, Короленко, Чехова, Куприна, Брюсова, Паустовского, Цветаевой.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)я43

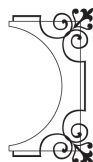
© Паустовский К.Г., наследник, 2026
© Оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2026

ISBN 978-5-04-216411-8



МИХАИЛ ЗАГОСКИН



КОНЦЕРТ БЕСОВ

— Если кто-нибудь из вас, господа, живал постоянно в Москве, — начал так рассказывать Черемухин, положив к стороне свою трубку, — то, верно, заметил, что периодические нашествия нашей братьи, провинциалов, на матушку-Москву белокаменную начинаются по большей части перед Рождеством. Почти в одно время с появлением мерзлых туш и индюшек в Охотном ряду потянутся через все заставы бесконечные караваны кибиток, возков и всяких других зимних повозок с целыми семействами деревенских помещиков, которые спешат повеселиться в столице, женихов посмотреть, дочерей показать и прожить в несколько недель все то, что они накопили в течение целого года. Но в 1796 году этот прилив временных жителей Москвы начался с первым снегом, и, по уверению старожилов, давно уже наша древняя столица не была так полна или, лучше сказать, битком набита приезжими из провинции. Старшины Благородного собрания пожимали плечами, когда на их балах не насчитывали более двух тысяч посетителей, и громогласно упрекали в этом италиянца Медокса, который беспрестанно давал маскарады в залах и Ротонде Петровского театра. Действительно, публичные маскарады, в которых не танцевали, а душились и давили друг друга, были в эту зиму

любимой забавою всей московской публики. В числе самых неизменных посетителей сих маскарадов был один молодой человек, также приезжий, но только не из провинции. Иван Николаевич Зорин — так звали этого молодого человека — только что возвратился из чужих краев. Он долго жил в Италии, любил страстно музыку и всегда говорил об италийанской опере с восторгом, который превращался почти в безумие, когда речь доходила до оперной примадонны Неаполитанского театра. Он называл ее в разговорах Лауреттою, но не хотел открыть никому из своих знакомых имя, под которым она была известна в музыкальном мире. По всему было заметно, что не одна страсть к искусству была причиною сего энтузиазма, и хотя Зорин никому не поверял своей сердечной тайны, но все его приятели, а в том числе и я, отгадывали, почему он казался всегда печальным, скучным и оживал тогда только, когда начинали с ним говорить об италийанской опере. Его вечную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныние, которое в Англии называли бы сплином, мы называли просто хандрою и всякий раз смеялись над его доктором, когда он, рассуждая о душевной болезни нашего приятеля, покачивал сомнительно головою. «Полноте, Фома Фомич! — говорили мы ему, — что вам за охота набивать его желудок пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по две шампанского в день да приемов пять или шесть в неделю балов, театров и маскарадов, так это будет лучше ваших разводящих и возбуждающих лекарств». Как ни упирался Фома Фомич, а под конец решился послушаться нашего совета и предписал Зорину ездить по всем балам и не пропускать ни одного маскарада. В самом деле, принимая участие во всех городских веселостях, наш больной стал и сам как будто бы спокойнее и веселее. Случалось, однако же, что он не бывал в театре и отказывался от званого вечера, но зато постоянно каждый маскарад являлся первый и уезжал последний.

Я служил еще тогда в гвардии. Срок моего отпуска оканчивался на первой неделе Великого поста, и, чтобы не попасть в беду, я должен был непременно в Чистый понедельник отправиться обратно в Петербург. Желая воспользоваться последними днями моего отпуска и повеселиться досыта, я провел всю масленицу самым беспутным образом. Днем — блины, катанья, званые обеды, вечером — театры, а ночью до самого утра балы и домашние маскарады не дали мне во всю неделю ни разу образумиться. Я был беспрестанно в каком-то чаду и совершенно потерял из виду приятеля моего Зорина. В воскресенье, то есть в последний день масленицы, я приехал ранее обыкновенного в публичный маскарад. Народу была бездна, каждые двери приходилось брать приступом, и я насилу в четверть часа мог добраться до Ротонды. Музыка, шумные разговоры, пискотня масок, которые, несмотря на то что задыхались от жара, не переставали любезничать и болтать вздор; ослепительный свет от хрустальных люстр, пестрота нарядов и этот невнятный, но оглушающий гул многолюдной толпы, составленной из людей, которые хотят во что бы ни стало веселиться, — все это сначала так меня отуманило, что я несколько минут не слышал и не видел ничего. Желая перевести дух, я стал искать местечка, где бы мог присесть и немного пооглядеться. Пробираясь вдоль стены, вдруг услышал я, что кто-то называет меня по имени; обернулся, гляжу — высокий мужчина, в красном домино и маске, манит меня к себе рукою. В ту самую минуту, как я к нему подошел, сосед его встал с своего места.

— Садись подле меня, — сказал он, — насилу-то мы с тобою повстречались! Да что ж ты на меня смотришь? — продолжал замаскированный, — неужели ты не узнал меня по голосу?

«Да, — подумал я, — в этом голосе есть что-то знакомое, но он так дик, так странен...»

— Ну, если ты меня не узнаешь, так смотри! — сказал человек в красном домино, приподымая свою маску. Я невольно отскочил назад — сердце мое замерло от ужаса... Боже мой! так точно, это Зорин! это его черты!.. О, конечно!.. Это он, точно он!.. Когда будет лежать на столе, когда станут отпевать его... Но теперь... Нет, нет!.. Живой человек не может иметь такого лица!

— Что ты? — спросил он с какою-то странною улыбкою, — уж не находишь ли ты, что я переменялся?

— О! чрезвычайно!

— Так зачем же говорят, что печаль меняет человека... Неправда! не печаль, а разве радость.

— Радость?

— Да, мой друг! О, если б ты знал, как я счастлив! Послушай, — продолжал мой приятель вполголоса и поглядывая с робостию вокруг себя, — только, бога ради, чтоб никто не знал об этом! Она здесь!

— Она?.. Кто она?

— Лауретта.

— Неужели?

— Да, мой друг, она здесь. О, как она меня любит! Она покинула свою милую родину, променяла свои вечно голубые небеса на наше облачное угрюмое небо; там, в кругу родных своих, пригретая солнышком благословенной Италии, она цвела, как пышная роза; а здесь, одна, посреди людей мертвых и холодных, как наши вечные снега, она если не завянет сама, то погубит навсегда свой дар, переживет свою славу, и все это для меня!.. Она, привыкшая дышать пламенным воздухом Италии, не побоялась наших трескучих морозов, наших зимних вьюг, забыла все, покинула все, — живая легла в эту обширную, холодную могилу, которую мы называем нашим отечеством, — и все это для меня!.. И все это для того, чтобы увидиться опять со мною!

— Уж не слишком ли ты прославляешь этот подвиг! — прервал я моего приятеля. — У нас не так тепло, как

в Италии, но так же бывает и весна и лето. Быть может, в Неаполе веселее, чем здесь, однако ж, воля твоя, и Москва не походит на могилу, да и твоя Лауретта, не погнавайся, не первая итальянская певица, которую мы здесь видим; и если она будет давать концерт...

— Да! один и последний! Я согласился на это; пусть она обворожит всю Москву, поразогреет хотя на минуту наши ледяные души, а потом умрет для всех, кроме меня.

— Так она хочет навсегда здесь остаться?

— Да, навсегда. Ну, видишь ли, как она меня любит? Но зато и я... О! любовь моя не чувство, не страсть... нет, мой друг, нет!.. Не знаю, постигнешь ли ты мое блаженство? Поймешь ли ты меня?.. Я принадлежу ей весь... Она просила меня... да! она хотела этого... — Тут Зорин наклонился и прошептал мне на ухо: — Я отдал ей мою душу — теперь я весь ее... Понимаешь ли, мой друг? — весь.

Мне случалось много раз самому отдавать на словах мою душу; да и кто из молодых людей остановится сказать любезной женщине, что его душа принадлежит ей, что она владеет ею; эта пошлая, истертая во всех любовных изъяснениях фраза не значит ничего. Но, несмотря на это, не могу вам изъяснить, с каким чувством ужаса и отвращения я слушал исповедь моего приятеля. Таинственный голос, которым он говорил, дикий огонь его сверкающих глаз, этот неистовый, безумный восторг, эти слова радости и бледное, иссохшее лицо мертвеца!..

— Эх, братец! — сказал я с досадою, — как можно говорить такой вздор? Душа принадлежит не нам; ее отдавать никому не должно. Люби свою итальянскую певицу, женись на ней, если хочешь, пусть владеет твоим сердцем...

— Сердцем! — повторил насмешливым голосом мой приятель. — Да что такое сердце? разве оно бессмертно, как душа, разве оно не истлеет когда-нибудь в могиле? Прекрасный подарок: горсть пыли! Кто дарит свое

сердце, тот обещает любить только до тех пор, пока оно бьется, а оно может застыть и сегодня, и завтра; но кто отступается от души своей, тот отдает не жизнь, не тысячу жизней, а всю свою бесконечную вечность. Да, мой друг, дарить так дарить! Теперь Лауретте бояться нечего, душа не сердце — ее не закопают в могилу.

— Да сделай милость — прервал я, — покажи мне эту волшебницу, эту Армиду, которая, как демон-соблазнитель, добирается до твоей души; повези меня к ней.

— Я не знаю сам, где она живет.

— Нет, шутишь?

— Да, мой друг, я выдаюсь с ней только здесь. Она не хочет до времени никому показываться, но все это скоро кончится: после ее концерта мы обвенчаемся и уедем жить в деревню.

— А когда будет ее концерт?

— На будущей неделе в пятницу.

— На будущей неделе?.. Быть не может! Ты, верно, позабыл, что на первой неделе Великого поста не дают никаких концертов.

— Полно, так ли? Кажется, Лауретта должна это знать; она даже говорила, что даст свой концерт здесь, в этой Ротонде.

— Так она, верно, сама ошибается. Видел ли ты ее сегодня?

— Нет еще. Она не приезжает никогда ранее двенадцати часов, но зато ровно в полночь, как бы ни было тесно в маскараде и где б я ни сидел, она всегда меня отыщет.

— Ровно в полночь! — сказал я, взглянув на мои часы, — то есть через две минуты. Посмотрим, так ли она аккуратна, как ты говоришь.

Если вам не случалось самим, господа, встречать Великий пост в маскараде, то по крайней мере вы слышали, что, по принятому обычаю, ровно в двенадцать часов затрубят на хорах, и музыка перестает: это значит, что наступил

Великий пост и что все публичные удовольствия прекращаются. В ту минуту, как я смотрел на часы, которые, вероятно, поотстали, над самой моей головой раздался пронзительный звук труб, и так нечаянно, что я невольно вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть! как они испугали меня!» — проговорил я, обращаясь к моему приятелю, но подле меня стоял уже порожний стул. Я взглядел вокруг себя: вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино; мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном венециане. Я вскочил, побежал вслед за ними, но в то же самое время поравнялись со мною три маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красное домино моего приятеля. Эти маски только что появились в Ротонде: одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами: «сухоядение». По обеим сторонам ее шли другие две маски, из которых одна одета была грибом, а другая — капустою. Длинное пугало поздравляло всех с Великим постом, прибавляя к этому шуточки и поговорки, от которых все кругом так и помирали со смеху. Один я не смеялся, а работал усердно и руками, и ногами, чтоб прорваться сквозь толпу. Наконец мне удалось вырваться на простор: я обшарил всю Ротонду, обежал боковые галереи, но не встретил нигде ни красного домино, ни черного венециана. На другой день поутру я заезжал проститься с Зориным, не застал его дома, а вечером скакал уже по большой Петербургской дороге.

Прошло более трех месяцев с тех пор, как я оставил Москву. Занимаясь непрерывно службою и процессом, который начался при моем дедушке и, вероятно, кончится при моих внуках, я совсем забыл о последнем моем свидании и разговоре с Зориным. Однажды в Английском клубе, пробегая не помню какой иностранный журнал, я попал

нечаянно на статью, в которой извещали, что примадонна Неаполитанского театра, Лауретта Бальдуси, к прискорбию всех любителей музыки, умерла в последних числах февраля месяца в собственной своей вилле близ Портичи.

«Лауретта! — повторил я невольно, — примадонна Неаполитанского театра!.. Ах, боже мой! Да это та самая италиянская певица, в которую влюблен до безумия бедняжка Зорин! Но как же она могла умереть в последних числах февраля близ Неаполя, когда почти в то же самое время была у нас в Москве, в маскарade у Медокса?.. Что за вздор!..» В тот же самый вечер я написал к одному из московских приятелей, чтоб он уведомил меня, здоров ли Зорин, где он и не слышно ли чего-нибудь о женитьбе его с одной иностранкою. В ответе на письмо мое уведомили меня, что на первой неделе Великого поста, поутру в субботу, нашли Зорина без чувств на Петровской площади близ театра, что он был при смерти болен и что уж недели две, как его отвезли лечиться в Петербург. Я стал искать его везде, обегал весь город, но все старания мои были напрасны. Наконец совершенно неожиданным образом я увиделся с ним в одном доме, где никак не предполагал и вовсе не желал его найти. Он очень мне обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, рассказал свое чудное приключение, которое началось в Ротонде Петровского театра и кончилось там же. Вот слово от слова весь этот рассказ, так, как я слышал его от бедного моего приятеля.

«Ты, верно, не забыл, — сказал он мне, — что я последний раз виделся с тобою накануне Великого поста, в маскарade у Медокса. В ту самую минуту, как на хорах протрубили полночь, я заметил посреди толпы масок Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня к себе рукою. Ты был чем-то занят другим и, кажется, не заметил, как я вскочил со стула и побежал вслед за нею. «Ступай сейчас домой, — сказала она мне, когда я взял ее за руку, —

я требую также, чтобы ты четыре дня сряду никуда не выезжал и не принимал к себе никого. Во все это время мы ни разу с тобой не увидимся. В пятницу приходи сюда пешком один, часу в двенадцатом ночи. Здесь, в Ротонде, будет репетиция концерта, который я даю в субботу». — «Но к чему так поздно? — спросил я, — и пустят ли меня?» — «Не беспокойся! — отвечала Лауретта, — для тебя двери будут отперты; я репетицию назначила в полночь для того, чтоб никто не знал об этом, кроме некоторых артистов и любителей музыки, которых я сама пригласила. Теперь отправляйся скорее, и если ты исполнишь все, что я от тебя требую, то я навеки буду принадлежать тебе; если же ты меня не слушаешься, а особливо когдапустишь к себе приятеля, с которым сидел сейчас вместе и которому рассказал то, о чем бы должен был молчать, то мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире; и хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет, — промолвила она тихим голосом, — но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою».

В течение двух лет, проведенных мною в Неаполе, я успел привыкнуть к странностям и необыкновенным капризам Лауретты. Эта пленительная и чудесная женщина, то тихая и покорная, как робкое дитя, то неукротимая и гордая, как падший ангел, соединяла в себе всевозможные крайности. Иногда она готова была враждовать против самих небес, не верила ничему, смеялась над всем — и вдруг без всякой причины становилась суеверною до высочайшей степени, видела везде злых духов, советовалась с ворожеями и если не любила, то по крайней мере боялась Бога. По временам она называла себя моею рабою и была ею действительно; но когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую властолюбивую женщину, что не выносила ни малейшего противоречия; а посему, как ни странны казались мне ее требования, я не позволил себе никакого замечания и безусловно обещался исполнить ее волю, тем более что

она дала мне слово, что это будет последним и окончательным испытанием моей любви.

Ты можешь себе представить, — продолжал Зорин, — с каким нетерпением дожидался я пятницы. Я приказал всем отказывать и даже не принял тебя, когда ты поутру приехал со мною проститься. Днем ходил я взад и вперед по моим комнатам, не мог ни за что приняться, горел как на огне, а ночью, — о мой друг! таких адских ночей не проводят и преступники накануне своей казни! Так не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманном искусством и наукою! Не знаю, как дожил я до пятницы; помню только, что в последний день моего испытания мне не только не шла еда на ум, но я не мог даже выпить чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипела в моих жилах. Помнится также, день был не праздничный, а мне казалось, что в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить колокола. Передо мной лежали часы; когда стрелка стала подвигаться к полуночи, нетерпение мое превратилось в какое-то бешенство; я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный пот выступал на лице моем. В половине двенадцатого часа я накинул на себя шинель и отправился. Все улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты две от театра, но не прошло и четверти часа, как я пробежал всю Пречистенку, Моховую и вышел на площадь Охотного рада. В двухстах шагах от меня подымалась колоссальная кровля Петровского театра. Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и более и светлее обыкновенного; многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали. Я подошел к главному подъезду. Одни двери были немного порастворены: подле них стоял с фонарем какой-то дряхлый сторож, он махнул мне рукою и пошел вперед по темным коридорам. Не знаю, оттого ли, что я пришел уже в назначенное место, или от чего другого, только я приметным образом стал спокойнее, и помню даже, что, рассмотрев хорошенько моего

проводника, заметил, что он подается вперед, не переставляя ног, и что глаза его точно так же тусклы и неподвижны, как стеклянные глаза, которые вставляют в лица восковых фигур. Пройдя длинную галерею, мы вошли наконец в Ротонду. Она была освещена, во всех люстрах и канделябрах горели свечи, но, несмотря на это, в ней было темно; все эти огоньки, как будто бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и только поставленные рядом четыре толстых свечи в высоких погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые ряды кресел и устроенное перед ними возвышение. Этот деревянный помост был уставлен пюпитрами; ноты, инструменты, свечи — одним словом, все было приготовлено для концерта, но музыкантов еще не было.

В первых рядах кресел сидело человек тридцать или сорок, из которых некоторые были в шитых французских кафтанах, с напудренными головами, а другие в простых фраках и сюртуках. Я сел подле одного из сих последних.

— Позвольте вас спросить, — сказал я моему соседу, — ведь это все любители музыки и артисты, которых пригласила сюда госпожа Бальдуси?

— Точно так.

— Осмелюсь вас спросить, кто этот молодой человек в простом немецком кафтане и с такой выразительной физиономиею, вон тот, что сидит в первом ряду с краю?

— Это Моцарт.

— Моцарт! — повторил я, — какой Моцарт?

— Какой? вот странный вопрос! Ну, разумеется, сочинитель «Дон-Жуана», «Волшебной флейты»...

— Что вы, что вы! — прервал я, — да он года четыре как умер.

— Извините! он умер в 1791 году в сентябре месяце, то есть пять лет тому назад. Рядом с ним сидят Чимароза и Гендель, а позади Рамо и Глук.

— Рамо и Глук?..